

ЕЩЁ РАЗ О «ЧУДИКЕ» ВАСИЛИЯ ШУКШИНА (De nuevo sobre el «Chyudik» de Vasilij Shukshin)

*Павел Глушаков
Латвийский университет, Рига (Латвия)*

Pavel Glushakov
Universidad de Letonia (Letonia)

ISSN: 1698-322X

Cuadernos de Rusística Española N° 5 (2009), 109-114

ABSTRACT

A story “Chyudik”, written by V.Shukshin in 1967, having been published, was immediately perceived by the critics (and later by the reading public as well) as a typical model of Shukshin’s character. The little of a definite story has become a general definition, an essential characteristics of the hero. The word is filled with a rather wide content: “chyudik” – the main character is awkward, benevolent, shy, proud, compliant, unhappy and life-loving. In the article an etymological and archetypal analysis of the images from the writer’s story is presented, and it is stated, that to understand the essence of this character, the meaning of such words as “a magician”, “a stranger”, “a foreteller”, “a sufferer”, etc. are very important. It is supposed that this image is connected with sacral symbolics, with the image of Christ. It is important that “chyudik” is a person, creating miracle and presenting it to other people.

Key words: Vasily Shukshin, the character’s typology, national character, etymology, archetype.

РЕЗЮМЕ

Рассказ Василия Шукшина «Чудик», написанный в 1967 году, тотчас по выходе из печати был воспринят критикой (а после и широким читателем) в качестве обозначения типологической модели шукшинского героя. Название конкретного рассказа стало общим определением, сущностной характеристикой персонажа. Слово наполняется весьма широким содержанием: герой-чудик неловок, доброжелателен, застенчив, уступчив, горд, несчастен и неунывающий. В статье даётся этимологический и архетипический анализ образов из рассказа писателя и устанавливается, что для понимания сущности этого персонажа важны значения таких слов как «волшебник», «чужой», «предсказатель», «страдалец» и других. Предполагается, что этот образ связан с сакральной символикой, с образом Христа. Важным представляется то, что «чудик» - это человек, творящий чудо, дарящий его другим людям.

Ключевые слова: Василий Шукшин, типология характера, национальный характер, этимология, архетип.

Нельзя сказать, что проблема «национального характера», типологии героя и, в частности, репрезентации этих построений в конкретных произведениях В.М.Шукшина – является неисследованной; наоборот, число работ по теме множится и промежуточный (объективно следует сказать – весьма внушительный и

плодотворный) итог подведён в статье «Чудик» из третьего тома энциклопедического словаря-справочника «Творчество В.М.Шукшина». Автор статьи Л.К.Вальбрит справедливо отмечает, что рассказ «Чудик», написанный в 1967 году, после выхода из печати был воспринят критикой (а после – и широким читателем) в качестве «дефинитивного» знака для обозначения типологической модели шукшинского героя – чудика (Вальбрит 2007: 305). Название конкретного рассказа, как это часто бывает, стало общим определением, сущностной характеристикой персонажа (нельзя, впрочем, согласиться с утверждением Л.Вальбрит, что «слово “чудик” становится нарицательным» (Вальбрит 2007: 306); здесь, видимо, сработал привычный шаблон персонажных характеристик, принятый в русской классической литературе, когда, действительно, от имени собственного образуется имя нарицательное в качестве знака типологического отождествления: Обломов – обломовщина и т.д.; в нашем случае слово «чудик» наоборот превращается в имя собственное – прозвище (вовсе, заметим, не имя) Чудик даёт герою *извне*, человеком, далеко не испытывающем к нему позитивных чувств, имя «навязывается» герою, имеющему собственное имя/отчество/фамилию Василий Егорыч (именно в таком устном варианте) Князев. И вот уже это прозвище, становясь именем нарицательным, в глазах читателей обретает универсальность и дефинитивность, превращаясь едва ли не в расхожее клише публицистических статей, школьных сочинений и т.п. текстов о творчестве Шукшина (см., например, доходящие до анекдотичности заголовки из алтайской прессы: «Шукшинские “чудики” пекут некачественные пироги?» с «комментированным» подзаголовком «Сотрудники газеты “Вечерний Барнаул” отравились, купив несколько пирожков в Сростках» (Amic 2007)). Слово наполняется весьма широким и нужно сказать не вполне определённым содержанием; чудик, по словам Б.Панкина (Панкин 1983: 172), неловок, доброжелателен, застенчив, уступчив, горд, несчастен. Перед нами оценочные характеристики, которые могут описывать, с известной долей приближенности, например, многих героев Н.С.Лескова или русских сказок. Далее уже идут основанные на столь «неустойчивой» почве построения об истоках подобных персонажных систем: здесь диапазон колеблется от «озорников» Глеба Успенского и Горького до Хлестакова и даже князя Мышкина (что, вероятно, объясняется сближением фамилии героя – Князев – и «титула» героя Достоевского) (Вальбрит 2007: 306).

Прозвище Чудик, по-видимому, принято самим героем рассказа Василием Князевым если и не без возражений, то и не с обидой: в антропонимической практике «народной культуры» присвоение человеку «неофициального имени» очень распространено, и в рассказах Шукшина это явление довольно частотно (это используется писателем для характеристики персонажа «извне», так сказать «общественным мнением», в качестве проявления «чужого слова»). Любопытно, что близкую форму можно встретить в автохарактеристике самого писателя (в составе рабочих записей: «Хочу написать двадцать книг. Чудак! Надо пять – хороших» (Шукшин 1996а: 236).

Сам Князев склонен, уже в свою очередь, присваивать прозвища другим лицам: так он характеризует сноху словом «чудачка», которое приобретает в его устах явственно «примирительную» окраску (знаменательная авторская ремарка: «Он хотел мира...» (Шукшин 1996b: 346), показывая, что прозвищная характеристика «чудик» сама по себе имеет только ситуативную оценочность и не является закреплённой в позитивном или негативном плане.

Если мы попытаемся проанализировать шукшинского «чудика» с точки зрения «набора» его релевантных человеческих/персонажных признаков, то, как представляется, сможем прийти к следующим выводам: существенную роль приобретут здесь не *оценочные* (субъективные, являющиеся отражением клишированного «безличного» «общего», часто враждебного к герою, отношения) характеристики, возникшие как поле вторичного «наполнения» семантики слова (например, «народная этимология»), а архаические мифоконстанты, заложенные непосредственно в самом слове «чудик». Конечно, мы далеки от полного изолирования слова от контекстных вариантов и функционального поля произведения, но предлагаем обратить внимание на потенциально значимые для рассматриваемого вопроса семантемы, которые уже частично затрагивались в работе «Этимологические заметки к изучению шукшинских „чудиков“» (Глушаков 2004: 51-52). Было установлено, что «чудик», помимо характерологической компоненты выполняет ещё и сугубо функциональную роль: через него, посредством соприкосновения с ним, с его «инаковостью», непохожестью, выделенностью из ряда «обычных», испытываются/испытуются другие герои. Чудик «путешествует», причём это путешествие сродни скитанию/странствованию, не только сугубо литературному по сути (с опорой на просветительский роман XVIII столетия с его коллизией столкновения естественного и цивилизованного, а равно и на «вечный» странствующий образ Рыцаря Печального Образа Сервантеса), но и архетипической реализации семантических множителей, обретающих релевантную значимость при детальном рассмотрении. В частности, этимологизация слова «чудик» (от «чудо») даёт следующие результаты: родство с греческим «слава, честь», «славный», древнеиндийским «умысел» и «учитель, мудрец», а далее с целым «веером» близких – чутя, чуть, кудесник, юдо (чудо-юдо) и т.д. (Фасмер 1973: 377-378). Не останавливаясь специально на очевидном: -куд-/ кудесник/ чудо/ чудить и пр. в «линии» героя «Калины красной» Егора *Прокудина* (здесь, думается, вполне очевидны значения подшучивать/проказничать и дальнейшие дерзкий/кричащий/шумный (Фасмер 1967: 400)), укажем семантически очень важную деталь: слово «чудо» испытало более позднее влияние слова «чужой», что объясняет саму архаическую сущность *чуждости* «чудиков» окружающему миру, проясняет истоки часто трагического непонимания и агрессии, которой подвергаются эти «непохожие» герои. Сносящие притеснения и обиды с поистине стоической смиренностью, незлобивые герои не просто «смирились» со своей незавидной участью изгоев, но определённо гордятся своей ролью, обладая недоступной/непонятной для других силой. Они наделены талантами ясновидцев/мудрецов/поэтов, в этимологизации Макса Фасмера (Фасмер 1973: 390). Наконец, здесь же непосредственные значения «чудо-юдо» богатырей (русских аналогов «странствующих рыцарей») и гипотетические «раздражать/подстрекать» и «искушать», равно как и «вскакивать во гнев», и – наконец – *страдать* (если всё же принять литовскую параллель «болеть») (Фасмер 1973: 528, а также Фасмер 1967: 400).

Внимательный читатель без труда отыщет в произведениях Шукшина соответствующие цитаты; так, уже в первых предложениях «Чудика» читаем: «Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал...» (Шукшин 1996b: 340), что явственно указывает на сакральную выделенность героя из ряда других – буквальное обладание особенностью, которого были лишены окружающие его люди. «Случалось» непосредственно находимо в рабочей записи писателя: «Произведение искусства — это когда что-то случилось:

в стране, с человеком, в твоей судьбе» (Шукшин 1996а: 219) и непосредственно подкрепляется «эстетическими поисками» героя, не приносящими ему ничего, кроме горя, страдания. Этот герой «слишком человечен», «слишком добр», за что он хранится Богом: в последних фразах рассказа такая деталь – «В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал» (Шукшин 1996б: 347) – приобретает поистине экзистенциальную категоричность – устоял, сохранён, спасён, не сломлен! Потому главным «умыслом» чудика нужно назвать его чудесное/чудное сердце (которое, заметим, в буквальном смысле у него болит: «Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. <...> И сердце всё болело» (Шукшин 1996б: 347)), дарящее соприкасающимся с ним людям чудо общения с чистым и добрым (возможно, *нечеловечески* добрым) человеком.

Кто же этот «больше чем человек», чудной и чудесный, пропускающий боль людей сквозь своё сердце, гонимый и негнибаемый, обладающий даром предвидения (равно как и его брат Дмитрий: «Не удивился – как будто знал...» (Шукшин 1996б: 347) и другие подобные детали), при появлении которого очищается и голубеет небо и показывается «солнышко» (Шукшин 1996б: 347)? Даже незначительная и казалось бы «проходная» деталь – лопающиеся пузыри – думается, привнесены в текст неслучайно: для читательского сознания, с одной стороны, образ дождевого пузыря связан с предвестьем дальнейшего и длительного ненастья, а с другой, – интертекстуально сближается с циклом А.А.Блока «Пузыри земли».

Для этого стихотворного цикла Блока (1904-1905 гг.) характерны знаменательные для шукшинской темы коннотации детскости, мистики повседневности, народной мифологии и стихийного чуда. Так, в стихотворении «Твари Весенние» с примечательным уточнением «Из альбома «Kindisch» Т. Н. Гиппиус», которое актуализирует текстовые регистры «детскости» (темы, к которой Шукшин относился с неизбежной трепетностью, и которая непосредственно заявлена в рассказе «Чудик» не только напрямую образами племянников Князева, но и самой беззащитностью, непрактичностью и незащищённостью самого Василия Егорыча), явственен мотивный рефрен «несвоевременности» проявления мистических сил, буквализированный медитативным «Чуда! о, чуда!» (Блок 1971: 9). Текст «Полноби эту вечность болот...» манифестирует мировоззренческий постулат «Одинокая участь светла», который звучит как апология непонятости шукшинского героя; одновременно «Пляски осенние» потенциально читаются как параллель к шукшинскому персонажу: Очарованный музыкой влаги, /Не могу я не петь, не плясать» (Блок 1971: 17), а текст стихотворения «Осень поздняя. Небо открытое...» «досказывает» внутреннее состояние чудика после фактического молчаливого предательства («И ничего не сказал») брата Дмитрия: «Бездыханный покой очарован. /Несказанная боль улеглась. /И над миром, холодом скован, /Пролился звонко-синий час» (Блок 1971: 15). Заметим, что весь блоковский цикл завершается прямой, хотя и косвенной, отсылкой к образу Христа – последние слова «Плясок осенних» более чем многозначительны:

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заровняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, *где воля твоя*. (Блок 1971: 17)

Чрезвычайно восприимчивый к различным и разновекторным стихотворным контрапунктам, Шукшин вводит в текст своего рассказа популярный образчик массовой культуры 60-х годов – песню композитора Г.Ф.Пономаренко на слова Г.Колесникова, первую строчку которой постоянно напевает Князев. Непритязательный текст этот содержит, помимо мелодраматического компонента, совершенно поразительные элементы. Так, песня открывается точно дешифруемым образом *солнца*, становящегося очистительным символом чудесного преображения героя, а также абсолютно по-новому прочитываемой «коронационной» детали, ясной при «княжеской» номинации чудика. Скитания героя, неуспокоенность его деятельного сердца переключается с возможно «донкихотским» мотивом *ожидающей дороги*, а прямое упоминание сердца подчёркивает значимость этого образа-символа в поэтике Шукшина (см.: Тевс 2006):

Тополя, тополя,
Солнцем коронованы.
Ждут дороги меня
И тревоги новые.
Далеко ухожу,
В сердце вас уношу,
Как весенний волнующий шум. (Вокальные 1972: 16)

При повествовании о чудике меняется даже синтаксис шукшинского текста, в нём нагнетаются «сакрализованные» конструкции с начальным анафорическим элементом: «И хотелось куда-то идти...», «И сердце всё болело», «И ничего не сказал», «И дождик редел...» (Шукшин 1996b: 347) и пр. И зачем понадобилось Шукшину непосредственно «представлять» читателю своего героя, давая ему фамилию «Князя мира сего»? Очевидный ответ – Христос – свидетельствует не столько о весьма «рискованной» интерпретации смысла рассказа, сколько о весьма ёмкой и глубокой «укоренённости» этого текста в традиции русского художественного слова.

Л.И.Емельянов полагал, что шукшинский рассказ заканчивается эпитафией (Емельянов 1983: 83), но «весенний волнующий шум», рефреном повторяющийся в песне Чудика, даёт основание говорить скорее о Пасхальной образности духовного и физического Воскресения.

БИБЛИОГРАФИЯ

- АМІС (2007): <http://www.amic.ru/articles/?id=74282>
- БЛОК А. (1971): *Собрание сочинений в шести томах*. Том 2. Правда. Москва.
- ВАЛЬБРИТ Л.К. (2007): “Чудик”, *Творчество В.М.Шукшина: энциклопедический словарь-справочник*, 3, pp. 305-309.
- ВОКАЛЬНЫЕ (1972): *Вокальные произведения*. Выпуск 4. Музыка. Москва.
- ГЛУШАКОВ П.С. (2004): “Этимологические заметки к изучению шукшинских «чудиков»”. В кн.: *В.М.Шукшин: взгляд из XXI века*. Издательство Алтайского университета. Барнаул.
- ЕМЕЛЬЯНОВ Л.И. (1983): *Василий Шукшин: очерк творчества*. Художественная литература. Ленинград.

- ПАНКИН Б. (1983): *Страсть к настоящему*. Советский писатель. Москва.
- ТЕВС О.В. (2006): “Сердце”, *Творчество В.М.Шукинина: энциклопедический словарь-справочник*, 2, pp. 128-129.
- ФАСМЕР М. (1967): *Этимологический словарь русского языка*. Том II. Прогресс. Москва.
- ФАСМЕР М. (1973): *Этимологический словарь русского языка*. Том IV. Прогресс. Москва.
- ШУКШИН В.М. (1996а): *Собрание сочинений в пяти томах*. Том 1. Литературное наследие. Москва.
- ШУКШИН В.М. (1996б): *Собрание сочинений в пяти томах*. Том 5. Литературное наследие. Москва.